



**М.А. ВОРОНОВ**  
**ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ**



Михаил Алексеевич Воронов

## Арбузовская крепость

Этот рассказ вошел в цикл «Московские норы и трубы», появившийся впервые в составе сборника под тем же названием, выпущенного Вороновым совместно с А. И. Левитовым в 1866 году. Цикл состоял из следующих произведений Воронова: «Сквозь огонь, воду и медные трубы», «Грачовка», «Ад», «Тишина» и «Арбузовская крепость». В них всесторонне были изображены быт и нравы различных московских притонов и ночлежек. Книга Воронова — Левитова имела успех и выдержала подряд два издания.

# Содержание

#1.....	0005
1.....	0011
2.....	0029
3.....	0036
4.....	0051
5.....	0067

# **Михаил Алексеевич Воронов**

## **Арбузовская крепость[1]**

Колосов переулочек тянется от Грачовки влево; он сплошь набит всевозможными бедняками. С утра до вечера и с вечера до следующего утра не смолкает в нем людской гомон, не смолкает длинная-длинная песня голода, холода и прочих нищенских недугов. Из кабака ли вырывается та песня в виде разухабистого *жги, говори*, сопровождаемая воплями гармоник или визгом скрипки, или просто несется она откуда-нибудь из-под крыши старого, покосившегося деревянного дома, или, наконец, поет ее какой-нибудь оборванец, сидя на тумбе, — всегда она — горький плач, всегда она — нытье погибшей человеческой души.

*Арбузовская крепость*[2] стоит на самой середине Колосова. Это старый деревянный дом в два этажа, грязный и облупленный снаружи до того, что резко отличается даже от своих собратий, тоже невообразимо грязных и ободранных. К дому справа и слева примыкают два флигеля, которые тянутся далеко в глубину двора; и дом и флигеля разбиты на множество мелких квартир, в которых гомозятся сотни различных бедняков. Впрочем, и

В Арбузовской крепости существует известная градация квартир, подобная той, какая существует во всех домах. Так, например, в квартирах дома, окнами на улицу, живут бедняки побогаче, по преимуществу женщины, у которых есть все: и красные занавески, и некоторая мебель, и кое-какая одежда, а главное — подобные жильцы постоянно находятся в ближайшем общении с разными кабаками, полпивными и проч., куда сносятся ежедневно скудные гроши, приобретаемые этими несчастными за распродажу собственной жизни... Им завидуют все без исключения арбузовские квартиранты; их называют довольными и счастливыми. Ко второй категории принадлежат жители того же дома, но только частей его, более удаленных от улиц: окна на двор. Тут обитает нищета помельче: из трех дней у нее только два кабацких и один похмельный; на пять, на шесть дней такому жильцу непременно выпадает один голодный. Борьба с просыпающей совестью и упорная битва с подставляющей ногу жизнью сделали из такого существования многоактную драму, в которой, впрочем, сердце зрителя

ля по временам отдыхает от тяжких, раздражающих сцен. Но такие антракты коротки; занавес поднимается и падает то и дело; то и дело появляются на эстраду жалкие актеры; то и дело вырывают они слезы из ваших глаз своим отчаянным воплем. Страшно быть таким актером, но еще страшнее попасть в число действующих лиц третьего рода жильцов крепости. Жильцы третьей категории населяют флигеля. Здесь изо дня в день разыгрывается драма, без перерывов, без антрактов. Зрителя не существует: он закрыл глаза, заткнул уши и бежал. «Что это за мерзость! — негодует он. — Ну, покажи что-нибудь страшное, да потом дай отдохнуть — в буфет, что ли, сходить, — а то черт знает что такое: наставил вместо людей зверей каких-то, да и заставляет их ломаться целые годы! И глупо и неестественно!» Действительно, актеры что-то пересаливают. Хотят они изобразить, например, голодного человека, так такую рожу вам покажут, что даже отвратительно! Ну, кто же не знает, что такое голод, *аппетит* тож? Или: бьют они друг друга до крови, *до настоящей крови*, желая тож представить драку! Или но-

жи эти, кистени, — ну, почему бы не иметь таких вещей из картона, дерева или что-либо подобное?.. Словом, зритель прав, убегая отсюда; тем больше прав, что в жизни существует еще столько приятного, милого, забавного, что не смутит, не разозлит, не вызовет желчь; тем больше прав, что мед приятнее полыни, и повсеместная водевильная веселость увлекательнее подобной драматической потасовки.

Я поселился в *крепости*, на квартире третьего разряда. Квартира эта состояла из двух комнат, из которых одну занимала сама хозяйка, другая отдавалась внаем. Эта последняя была разделена опять на две части чем-то вроде коридора; каждая часть, в свою очередь, делилась еще на две; следовательно, из комнаты, предназначавшейся для отдачи внаем, выходило четыре покоя, отделенных один от другого неполною перегородкою. Каждый такой покой величиною равнялся конюшенному стойлу, и в подобном стойле нередко помещалось трое, даже четверо. Очень немного, думаю, найдется людей, которые могли бы представить себе общую атмо-



сферу комнаты в три-четыре квадратных сажени, набитой восемью или десятью живыми существами, особенно если принять еще во внимание то, что каждое стойло имело и свою собственную атмосферу.

Я обязался платить за свое помещение рубль семьдесят пять копеек в месяц. Словоохотливая хозяйка долго-долго расхваливала мне мою закуту.

— Кто же живет в соседстве со мною? — спросил я хозяйку после осмотра новой моей квартиры.

— Да разные...

— То есть как же это *разные*?

— Да ты не бойся, батюшка, у нас ничего... У нас этого нет, чтобы у своих, то есть... ни-ни!.. Хоть груды золота навали — не тронут! Насчет этого смирно.

— О, за это-то я не опасаюсь, потому что у меня и взять нечего.

— Ну, и ладно... А народ живет все хороший. Разумеется, в наших местах где ты его сыщешь, человека, чтобы на отличку, значит: все маленько есть за ним что-то... Но только опять же в фатере он ничего этого.

— То-то, чтоб не слишком беспокоили.

— Нет, беспокойства тебе не будет, потому на леву-то руку девица живет — смирная такая, пресмирная, вот ровно ее и нет; опять по праву, там старики у меня пущены, дочь у их, девчонка, да сын — эти тоже ничего. Перва-то старик, признаться, баловал, а теперь, должно, помирать собрался, так потише стал, — и все из его эта слюна бежит, так бежит, что, может, кольки уж ведер ее вытекло!.. Насупротив опять смирный живет; англичанка у его тоже тихая, словно курица какая: когда ежели бить начнет, так и то она голосу не подает, все больше в себе придерживает...

Получивши таким образом некоторое понятие о своих соседях, я сунул хозяйке зада-ток, а чрез два-три часа окончательно перебрался на новую квартиру, благо перетаскивать-то нечего. В первый же день я уже узнал кое-что о своих соквартирантах, а неделю спустя вошел с ними в знакомство, и так как человек в этих местах крайне сообщителен и вообще не способен скрывать от других что-нибудь, то мне ровно ничего не стоило собрать самые точные сведения об этих людях.

Направо, в конуре, помещалось семейство из четырех человек. Pater familias[3], ветхий старик, больной, раздражительный и вечно жаждущий водки, постоянно оставался дома; мать, худая, желтая, сторбленная старушка, целый день бродила где-то, по-видимому бесцельно, и только по вечерам являлась на квартиру; дочь, девочка лет двенадцати, была совершенно предоставлена самой себе и лишь по временам забегала в свое убогое жилье, где постоянно брюзжал на нее полуживой отец; сын, молодой человек двадцати с чем-нибудь лет, редко появлялся в семействе, потому что вечно голодные родители постоянно встречали его бранью и проклятиями, если бедняк не приносил денег. С отцом семейства я познакомился в первый же день.

Дело случилось так.

Вечером, подложив руки под голову, я лежал на кровати. Зажигать свечу было еще рано, да и не нужно, потому что только в потемках и можно оставаться до некоторой степени равнодушным к окружающей гнусности.

Далеко где-то гудела шарманка — московская шарманка, выворачивающая вон душу. Вслушиваясь в убогий сап и храп убогой музыки, я мало-помалу переходил из состояния крайнего ожесточения в какое-то мирное, тихое, плаксивое состояние. В голове ворохнулись воспоминания о прошлом; одна за другой побежали перед моими глазами тени, когда-то милые моему сердцу; на ресницы навернулись слезы... В потемках хорошо плакать, уверяю вас! Когда я забиваюсь с своим горем в темную комнату, я всегда даю простор накипевшим в груди страданиям. Я забываю тогда, что я мужчина и что, следовательно, мне плакать стыдно; тогда я, откинув в сторону всякую копеечную мудрость и сообразивши всю тяжесть настоящей жизни, всю свою бесхарактерность, всю мелочность и пошлость своей натуры, — тогда я ясно понимаю, какой я величайший дурак, какая я ничтожная гадина! И вот реву, реву и реву; реву до тех пор, пока не облегчится грудь, пока не скатится камень, наваленный на сердце! Нет, хорошо иногда забыть, что ты железный мужчина, и, уподобившись слабонервной женщине, хоро-

шо всплакнуть, — хорошо потому, что больше-то ничего, по своей негодности, сделать не можешь! Ведь наше горе — горе дурацкое! Наши страдания потому только и существуют, что существуют на наших плечах гуттаперчевые шишки вместо голов! потому, что нас можно утешить пряником! потому, что хотя и кричим мы во все горло, да кричим-то поодиночке, без толку! потому, наконец, что руки наши болтаются без дела, что забились мы в какой-то заколдованный круг, да и боимся шагнуть за черту! Тяжело наше горе, потому что плохи мы сами! И долго-долго будет поедать нас это великое зло, если мы сами будем равнодушны к нему, если мы сами твердо не пожелаем иметь то, без чего мы теперь позорно умираем!

Так, только что я дал простор своей кручине, за стеной, справа, раздался удушающий, болезненный кашель, и затем кто-то слабо проговорил:

— Добрый человек!

Я проглотил слезы и по возможности твердым голосом спросил:

— Что вам нужно?

— Выслушайте бедного, больного старика.

— Говорите.

— С утра маковой росинки во рту не было, войдите в мое горькое положение, помогите голодному челов...

Кашель прервал речь соседа.

— Старик! — крикнул я. — Зайдите ко мне, если можете, у меня есть хлеб, да вот и денег тут, кажется, было несколько копеек.

Я открыл ящик стола и принялся отыскивать там скудные свои гроши. В это время в конуре соседа послышалось усиленное кряхтенье, бедняжка не мог справиться с плохо повиновавшимися ему ногами. Я зажег свечу.

— Ну, что, идете?

— Иду, иду, батюшка, — проговорил старик, медленно выползая из своего стойла. — Ноги-то, треклятые, не слушаются, — прибавил он, выбравшись в коридор.

Я отворил дверь.

— Здравствуйте, соседка, — слабо пролепетал старик, входя ко мне.

— Здравствуйте. Садитесь.

Старик опустился на стул. На вид ему было лет семьдесят. Лицо морщинистое, как ядро

грецкого ореха, утратило всякое выражение. Тусклые глаза бессмысленно выглядывали из-под нависших густых бровей. Бедняк учащенно чавкал губами, по-видимому стараясь как-нибудь удержать ключом бежавшую слюну. Я предложил старику хлеба и попросил хозяйку поставить самовар.

— Дорого ли платите? — спросил меня сосед, окидывая взглядом комнату.

— Рубль семьдесят пять.

— Так, так. Хороша комнатка... И тепло по-ди? — прибавил он, запихивая в рот куски хлеба.

— Должно быть, тепло, — ответил я. Но старик не слушал моих слов; глаза его вдруг как-то блеснули и забегали из стороны в сторону: он увидел на столе несколько копеек денег.

— Водочки бы, — прошептал бедняк, протягивая руку к деньгам. — На пяточок бы... погреться... давно не пил... славно! — бормотал старик, как ребенок глядя мне в лицо.

— Ведь вам, дедушка, я думаю, вредно пить.

— Нет, ничего, — бойко проговорил он. —

Это она вам сказала, что вредно, — она врет, ей-богу врет! Она сама пьяница, подлая!..

— Напротив, мне никто не говорил, но я думаю это, глядя на вас, — перебил я старика.

— На пяточок только, — скорбно выговорил старик.

— Извольте, если только это не повредит вам.

— Нет, нет! Вот ноги поразомну... Давно очень уж не пил, — вздыхая, добавил бедняк.

Я послал за водкой.

— Как же вы четверо помещаетесь в одной комнате? — спросил я соседа.

— По бедности, батюшка.

— Давно ли вы так живете?

— Девятый год.

— Господи боже мой! — невольно вырвалось у меня. «Девятый год люди изо дня в день умирают голодной смертью», — подумал я. — А прежде вы как жили и чем занимались? — спросил я старика.

— Да так же и прежде жили, только тогда, известно, здоровья-то больше было — сам работал, а теперь только что сын добудет, тем и пробиваемся. А какой он добышник.



— Какая же ваша работа была?

— Разная... какая придется...

— То есть как же это: какая придется.

— Да так же... Известно какая... сами знаете...

Старик замялся. Принесли водку; сосед выпил рюмку и сладострастно зачавкал губами, приговаривая:

— Эх ты, рожон тебе в бок!.. Ишь ведь какое зелье подлое!.. Страсть люблю эту тварь!..

— Где же ваше семейство? — спросил я его.

— А бог их знает. Они ведь меня, старика, не очень почитают, так бросят с утра раннего, вот и валяюсь один, голодаючи.

— Отчего вы не попроситесь в богадельню? Ведь вам пора бы уж, кажется, успокоить себя. Богу бы там молились.

— Ох, батюшка, не могу я! Был я уж и в богадельне — прогнали: очень пить стал.

— Помилуйте, куда вам пить! Вы больны, вам лечиться нужно.

— Болен, батюшка, да — болен... надо лечиться, — бормотал старик, наливая рюмку. — Вы на меня не сердитесь, батюшка, — обратился он ко мне, — не могу, очень уж

люблю ее, проклятую!

Он выпил, поцеловал доньшко рюмки и затем бросился обнимать меня. На глазах старика стояли слезы.

— Только вы у меня один добрый, — задыхаясь, лепетал сосед. — Все меня бросили, никому я не нужен, никто не пожалеет меня. Так, ровно тряпка какая ненужная, валяюсь без призору. Жена бросила, сын бросил, дочь бросила — все бросили! Но только бог меня не бросил, — оживившись, проговорил старик. — Не-эт, бог не бросил... Бог все не оставляет меня своей милостью. Я много пред ним грешен, много грешен, а он все не оставляет, все не оставляет меня. Он все не оставляет... Он? Бог-от... Не-эт, не оставляет... А они мне не нужны... Они мне не нужны... Жена думает, что я в ней нуждаюсь... Не-эт, шалишь! Ступай! ты мне не нужна!.. Воруйте вы с сыном, сколько вашей душе угодно, пропивайте, сколько вашей душе угодно, а вы мне не нужны... нет, не нужны...

Старик совершенно захмелел; он едва держался на стуле.

— Вы мне не нужны... ступайте ко всем

чертям! — бормотал старик. — Вот Сашутку жалко... Сашутку жалко... А должна пропасть, должна пропасть... А жалко, очень жалко, вот как жалко! — Старик ударил себя кулаком по лбу. — Возьми у меня Сашутку, пристрой ее!.. Пристрой!.. Ты добрый человек?.. На!.. возьми ее... сбереги ее мне...

Бедняк как-то бессмысленно поглядел на меня.

— Нет, и тебе не отдам, потому все вы подлецы!.. Я вас всех знаю... я всех знаю... Вот вам что будет за Сашутку! — И старик погрозил кулаком. — Она у меня вот где, вот!.. — Бедняк указал на сердце. — Ни за что не отнимете Сашутку у меня! Ни за что! А пропадет, пропадет, — прибавил он, закрывая лицо руками, — пропадет... мать продаст, как подрастет, продаст, продаст!..

Несчастный откинулся на спинку стула, заскрежетал зубами и потом тяжело захрипел; голова свалилась на сторону, лицо совершенно помертвело, грудь едва колыхалась.

Я перетащил старика на кровать.

— Зачем вы его поили-то? — упрекнула меня хозяйка, входя с самоваром. — Ведь ему

один наперсток нужно — вот уж он и пьян.

В этот же вечер я познакомился с женою и дочерью старика. Старушка много рассказывала мне о своем горе, повинилась в пристрастии к водке, которую, как говорила, она пьет поневоле, чтобы залить свою кручину, и долго-долго нашептывала мне о своей печальной участи, выбиться из которой, как она уверяла, нет никакой возможности. Видно было, что человеческая речь, какой я говорил с этими бедняками, сильно действовала на их загрубелые сердца. Участие, с каким я выслушивал грустную исповедь старушки, очень расположило ее ко мне, так что после каких-нибудь тридцати — сорока минут, которые мы провели в беседе, старушка, без всяких вызовов с моей стороны, принялась рассказывать мне свою жизнь.

Передаю то, что сохранила моя память из этого рассказа.

— В Москве мы живем лет двенадцать, — рассказывала старушка, — а прежде в Серпухове жили, так, торговлишкой кое-какой занимались. Старик-от у меня в те поры был трезвый, и вина этого ему на дух не надо, не

токма чтобы пьянствовать, как теперь. В Серпухове мы жили, можно сказать, богатеями, потому лавочка у нас своя была да двор постоянный держали; была у нас и корова, и лошадку держали, и все, что по хозяйству вокруг надо, — все было. У меня, бывало, сарафан не сарафан, шаль не шаль, шуба не шуба, — так инда вешалка ломится! И прожили бы мы безбедно до сих пор, если бы не обошел нас в ту пору какой-то бес, прости господи! Вступило вдруг, отец мой, старику-то моему в голову переехать в Москву: так спит он и видит все Москву да Москву — совсем замотался. Я тоже ровно бы одурела, тоже за ним тяну: «Поедем, мол, что нам тут делать?» И дивись бы молоденькие, что ли, были, дивись бы капиталу у нас больно уж много было, — ничего такого: так, взбесились на старости лет, да и на-поди! Разом мы все это распродали, разом собрались, и марш. Приезжаем. Спервачка-то у Красных ворот остановились, а сами все приглядываемся да присматриваемся, где бы, мол, торговлишку какую завести — лавочку, что ли, мелочную или кабак снять? Отыскали наконец и лавочку. Сняли. Месяца два торгу-

ем, слава тебе господи! (Тут, на Дербеновке, лавку-то держали.) Только, отец ты мой, одна, как теперь помню, под Егорьев день, ноет этта у меня сердце, так ноет, что и сказать я тебе не могу! Захватит, захватит внутри-то, да так ровно бы все сосет, все сосет в левом боку. Дело было вечером, только что торговлю покончили, да, господи благослови, ужинать сели. Вот и говорю я своему старику: «Что это, говорю, Андрей Митрич, у меня ровно предчувствие какое, все это как-то не по себе?» А еще Андрей-то Митрич, помню, с сердцем говорит: «Пооди, чай, говорит, обожралась чего сдуру». Так мы этим разговор и покончили; потому, вижу я, сидит он сердитый такой. Поужинали. Легли спать. И все это мне не спится, все это мутит, все мутит внутри. Ворочалась, ворочалась с боку на бок, наконец дрема начала меня брать. Только что закрыла я глаза, может каких минут пять забылась, вдруг слышу, поднялся на дворе крик, ломаются к нам в двери. Вскочили мы, глядь — горим! Батюшки светы! в чем были, в том и повыскакали на улицу, детей-то едва повытаскали. Бросились было добрые люди в лавочку, нельзя

ли мол, спасти чего, — куда тебе: всю ее так и охватило сразу. А тут старика не отыщем — тот куда-то пропал. Бегали, бегали, выли, выли, наконец нашли на другом конце улицы, сидит он с какой-то банкой в руках и все вопит: «Шкатунка, говорит, пропала!» Так мы в те поры, отец мой, сразу потеряли все: имущество погорело, товар погорел, да и шкатунка не то пропала, не то погорела, а в ней, мотри, тысячи четыре денег было. И остались мы, нежданно-негаданно, нищими как есть. Взяться нам нечем, в люди идти жить нельзя, потому детишек в ту пору трое было мал мала меньше, работы никакой нет, — хоть ложись да умирай! Бились, бились, наконец, батюшка, моченьки нашей не стало! Старик, вижу, стал хмелем заниматься, вижу, знакомство водит с такими людьми, об которых прежде-то и думать бы не стал; я — грешное дело — милостыню пошла просить. А разве это легко, батюшка ты мой! Каково было руку-то мне протягивать, когда прежде сама давала вволю? Дети этта бегают без призору (тут уже двое стало; одна девчонка в помойной яме утонула), скверным делом пробавля-

ются: там, слышишь, унесли, в другом месте унесли. И была-то я их поначалу и то и другое делала — ничего не помогает, потому ребенок голодный, холодный ходит, ну и...

Старушка заплакала.

— Вот таким-то родом, отец мой, и бьемся изо дня в день двенадцатый год. Хоть умереть, так, кажется, легче бы было!.. Совесть, что ли, в нас или христианства этого нету? Не люди, что ли, мы, не чувствуем, как она сладка, эта жизнь? Да, господи! кабы вот на э-только была возможность оправить себя да повести как следует, — разве бы мы не зажили по-людски-то? Разве приятно видеть, как люди на тебя плюют, когда ты хуже собаки поставлена, как дети у тебя ровно звери какие вырастают! Ох, детушки, детушки!..

Старуха горько-горько зарыдала и вышла.

*Плачет старуха, — а мне что за дело:*

*Что и жалеть, коли нечем помочь? —*

подумал я.

Прошли три дня. Раз поутру я был разбужен какими-то криками, вылетающими из от-



деления, занимаемого семейством. К знакомым голосам старика, старухи и дочери присоединялся на этот раз еще новый, молодой, мужской. Нового звали Яшей, почему я заключил, что это был пропадавший несколько времени сын.

— Сколько, ты говоришь, Яша, на твою долю?.. — спрашивала мать.

— А ты не ори! — беспеременно обратился к ней сын, — за перегородкой, чай, слышит...

— Нет, он уже спит, — шепотом сказала она.

— Я, видишь, мастером был: ну, продали мы за девяносто, значит, я и получил половину. Да уж из них вот только осталось.

— Ну-ка, давай их сюда, — проговорила мать.

— Как же, так и отдал, жди! Вот это дам.

— Этого мало.

Старушка начала представлять сыну какие-то расчеты.

— Сколько, ты говоришь, Яша, на твою долю? — спрашивала мать.

— Водочки бы поставить, — скромно произнес отец.

— Молчи, старый дурак! — прикрикнула на него мать.

— На, на тебе на водку! — умиловился Яша.

Через полчаса у соседей моих пошел пир горой. Голоса поднимались все выше и выше, потому что семейство старательно угощало себя водкой. Пили все, даже маленькая Саша.

— Мамынька, дай мне, — слышался голос девочки.

— Полно, дура, пьяна будешь.

— Нет, мамынька, я только рюмочку.

И добросердечная «мамынька» отпускала дочери рюмочку.

В каких-нибудь тридцать — сорок минут вся семья дошла буквально до состояния диких зверей: родители потеряли всякое сознание о своих правах, которые они обыкновенно предъявляли в трезвом виде; дети забыли страх и уважение к родителям — и поднялась ожесточенная руготня, грозившая перейти даже в потасовку.

— А что ты говоришь, псов сын, что не я тебя в мастера поставил, так это ты врешь, подлец! — спотыкаясь на каждом слове, шам-

кал отец.

— Поставил один этакой, — перечил сын.

— И поставил...

— Я из-за тебя только на съезжую и попал. Вот как ты меня в мастера-то ставил...

— А кто форточному делу обучил? кто? Кто, скажи, с тобой да с Федькой Чижом в Никитской брал? кто у Андрония?.. То-то, подлец, все забыл!

— Сам подлец! — ругнул сын.

— Как... отца-то?

Старик зашуршал ногами, вероятно силясь подняться.

— Смотри, старый черт! — погрозил Яша.

— Я тебе покажу, как отца ругать! — задыхаясь, кричал старик.

— Покажи, покажи... Посмотрел бы я...

Сцены вроде этой повторялись одна за другой до тех пор, пока семейство окончательно не свалилось с ног. Затем наступила тишина, нарушаемая лишь храпением спящих отцов и детей.

Я потихоньку выбрался в коридор, потихоньку приотворил дверь в комнату соседей и увидел следующую картину.

Стойло занимало пространство немного чем больше квадратной сажени. Мебель состояла из липового стола, двух изломанных стульев и кровати самого незатейливого свойства. На кровати лежала грязная рогожа, заменявшая тюфяк и подушку вместе. Кроме отрепьев, которыми были покрыты телесные срамоты бедняков, в конуре не видно было ровно никакого имущества. Семейство располагалось в этой берлоге в таком порядке: отец лежал на кровати; рядом с ним, едва лепясь на окраинах досок, в самом неловком положении, помещалась дочь; мать и сын валялись на полу. Удушливый воздух, каким была наполнена комната, сразу отшатнул меня от двери: такой атмосферы, думаю, не отыскать даже в свиных хлевах и тому подобных неприглядных местечках...

Проживши в *крепости* неделю, я коротко познакомился с обитавшим в соседстве семейством; я узнал такие истории и такие случаи, бывшие с ним, что даже мне подобные рассказы показались чуть не вымыслом.

Старик отец, о котором я уже сообщил кое-что по рассказу его жены, был прежде всего вор (жулик), и вор очень оригинального свойства: он последовательно прошел почти все категории и между своими братьями считался человеком очень искусным в этом деле.

Нужно заметить, что воровство имеет множество степеней, или, лучше сказать, категорий, между которыми *забирошничество* считается делом самым легким, а *афера* составляет как бы венец. *Забироха* (от беру, забираю) ворует только то, что воруетя легко, хотя и с особенным риском, что можно взять без каких-либо выдумок, подходов и проч.; *аферист* же, как видно из самого слова, непременно должен пускаться на выдумки, на *аферы*, он изоцряет тут свой ум (если только можно назвать умом ту мозговую работу, которая про-

исходит в голове подобного вора), соображает все случайности и нередко совершенно поражает своей находчивостью и обдуманностью своею воровского плана. Аферисты — это Талейраны своего рода, между тем как несчастный забироха просто-напросто писец уездного суда или полиции. Вот если допустить такое сравнение, то в промежутке между аферистами (Талейранами) и забирохами (писцами) стоят все остальные различные воровские чины вроде *поездушников*, *кушачников*, *трубочистов*, *городушников*, *форточников*, *громил*, *липачей* и проч. и проч. Разница между всеми этими категориями довольно значительна как по самому роду ремесла, так и по степени материального благосостояния.

Вот, на выдержку, крайние звенья этой воровской цепи.

Забироха вечно голоден, оборван, грязен, живет в какой-нибудь закуте или нигде не живет, а так болтается под открытым небом. Мать-природа знакома ему как свои пять пальцев: и дождем-то поливала она без конца, без меры, и солнцем-то жгучим палила, и морозом трескучим холодила — все он изве-

дал, все он взял от этой единственной своей подруги, — все взял, что щедро дала она ему. Вид забирохи ужасен. Он потерял даже лик человеческий; он — воплощенная злоба, воплощенная ненависть. Из подобных людей выходят самые закоренелые злодеи, потому что, что же может быть ужаснее голодного человека? Посмотрите, как злобно он смотрит на вас, когда, встретив вас где-нибудь в глухом месте, попросит милостыню! Он не говорит, как привилегированный нищий: «Подайте, Христа ради», — нет, он просто пробормочет: «Подали бы», — и при этом как-то решительно протягивает руку... Забироха вечная жертва полиции, вечно водят его на веревочке с замеленною спиною, то на улице подняли спящего, то сам пришел в часть просить ночлега, то драку завел с кем-нибудь, чтобы попасть в руки блюстителей порядка... Бедный забироха! целые годы иногда шляешься ты, злополучный, не находя себе места, не находя куска хлеба; шляешься, шляешься, да наконец и окочуришься где-нибудь на мостовой! Никто тебя не пожалеет, никто о тебе не вспомнит — только в полицейском листке по-

явится лишняя строчка: «такого-де числа, там-то усмотрено неизвестно кому принадлежащее тело». Экая подлая жизнь!

Не то, совсем не то жизнь афериста.

Аферист, во-первых, имеет квартиру (иногда очень хорошую), имеет обед, имеет одежду; он даже редко ходит пешком, а по большей части катается на рысаках — на лихачах. Наружность его очень прилична. Нередко, обдумывая какой-нибудь воровской план, он прохаживается с сигарой по бульвару, причем заинтересует своей задумчивою физиономиею не одну купеческую дочку. Этот вор — самый гнусный вор! Гнусен он потому, что до воровства он доходит не по нужде, не ради холода и голода, а по стремлению к легкому труду или ремеслу — легкому потому, что такой человек затратил постепенно на него весь свой умственный капитал. Воры этой категории поражают очень многих своей ловкостью; недалеким людям они, так же как и Талейраны, кажутся просто гениями, потому что недалекие люди ловкость известного рода считают умом, совершенно забывая, что с умом необходимо связаны честь, со-



весть, правда. Такие недалекие люди совершенно забывают, что он воровски умен, то есть потому, что другие, будучи честно умны и действуя в сфере правды и совести, никогда не подозревают ловушек там, где, по понятиям честного человека, их не должно быть, — он силен человеческой слабостью.

Остальные категории воров все заключены между скромным бедным забирохой и величественным аферистом, и степень материального довольства определяется тут степенью отдаленности от того или другого конца.

Многим странным покажется, каким образом воры-отцы, сознавая всю гнусность и непрочность своего ремесла, пускают по той же дороге и детей, к которым нередко питают самую горячую любовь. Некоторые верят даже сказкам о том, что существуют будто бы школы, в которых обучают детей воровскому ремеслу. Ничуть не бывало; в Москве по крайней мере таких школ положительно нет; а если родители предоставляют детям изведывать все невзгоды своего ремесла, то это случается без их воли и желания, а именно в силу тех же неотразимо гнетущих обстоя-

тельств, которые повалили и самих родителей. Воры-родители, вечно слоняясь по городу, сообразно своему занятию, предоставляют детей самим себе; дети голодают, холодают и наконец выталкиваются на отцовскую дорогу теми же недругами, какие ведут по пути преступлений и их родителей. Привыкнув к порокам с детства и рано огрубев под тяжестью лишений, потомок-вор в двенадцать-тринадцать лет уже совершенно закаляется в этом грязном и преступном омуте, его трудно свести уже в эти годы с избранного пути — тем более трудно, что нередко с детства он делается опорой, кормильцем и поильцем целой семьи. Наконец, кто знает местности вроде Грачовки, Дербеновки, Мошка, Щипка и проч.[4], местности, исключительно населенные жуликами, тот поймет, как трудно сберечь ребенку (заметьте, самому!) нравственность в подобных помойных ямах. Кто видел этих детей с старческими, морщинистыми лицами, с хриплыми голосами, с грубой, вечно циничной речью — тот поймет, что из грязи не выйдет золото, а из сгнившего нравственного дитяти не вырастет здоровый человек. Посмотр-

рите на игры этих несчастных, с утра до вечера без приюта слоняющихся из угла в угол, посмотрите на обращение с ними старших, на презрение, оказываемое им отовсюду, — и вы поймете, что пути из такого ребенка не может выйти: где посеяны волчец и терние, там не взойдет пшеница, поверьте...

Я жил в крепости уже около месяца. Семейство моих соседей несколько раз праздновало какие-то случайные получки денег, несколько раз затевалось в скромной комнате великое пьянство: бушевал отец, ругался сын и вопили мать и дочь. Но вдруг все стихло, и стихло на довольно продолжительный срок, так что я даже осведомился у хозяйки, что случилось с моими соседями. Оказалось, что сын где-то сильно проворовался и теперь скрывается, потому что его ищет полиция; отец, получивши от сына некоторое количество денег, тоже пропал без вести: а мать бежит и отыскивает мужа и сына; дочь же Саша потому не являлась домой, что делать тут ей нечего.

Раз, ночью, я был разбужен голосами в комнате соседей.

— Где же тятка? — спрашивала Саша.

— Да бог его знает, — отвечала мать. — Вон Яшутку-то, мотри, словили — пропадет теперь.

— А он где?

— Известно где: скрывается.

— Видела ты его? — спросила Саша.

— Видела. Молчи! спи!

Наутро явилась полиция. Я слышал, как грубый, начальнический голос расспрашивал хозяйку, где живет Андрей Дмитриев и не у него ли скрывается сын, Яков Андреев? Хозяйка объявила, что хотя Андрей Дмитриев и живет у ней, но что его теперь нет дома; а если его благородию угодно, то можно видеть жену Андрея Дмитриева. Начальство вошло в комнату соседей.

— Ты кто такая? — обратился начальник к старухе.

— Вера Павлова, ваше благородие.

— Жена Андрея Дмитриева?

— Так точно, ваше благородие.

— Где же муж?

— Не могу знать, ваше благородие: четвертый день не бывал дома.

— А где сын, Яков Андреев?

— Тоже не могу знать, ваше благородие: вот шестые сутки не вижу.

— Врешь!

— Убей меня бог, ваше благородие!

— Ты его скрываешь где-нибудь. Врешь!

— Никак нет, ваше благородие. Как перед господом богом...

— Экие подлецы! — рассуждал полицейский чиновник, — в своем квартале грабят, как будто Москва-то клином сошлась! Ты скажи своему Якову, — обратился чиновник к старухе, — что напрасно он бегаёт — отыщем... Отыщем, и уж тогда не отвертится — прямо в Сибирь! Я покажу, как марасть мое имя!

— Он, ваше благородие, может быть в этом деле не виноват, потому...

Старушка заплакала.

— Хорошо, хорошо, там увидим, как не виноват, — грубо возразил полицейский и вышел.

Весь день старушка мать и Саша провели в хлопотах: они бегали куда-то, часто появлялись в своей конурке, шептались, приносили и уносили что-то.

Вечером, часов в шесть, в сенях раздался грубый, полунасмешливый голос каких-то людей: «Ну-ка хозяйка, принимай гостя»; затем послышался взвизг хозяйки, и через се-

кунду двое полицейских принесли в комнату соседей умирающего старика, которого они подняли где-то на улице.

— Ах, батюшки мои! Ну-ка, он помрет! — вопила хозяйка.

— Туда и дорога, — заметил один из стражей. Явились мать и дочь. В комнате поднялся плач.

— Андрей Митрич! голубчик! — звала мать, тормоша окоченевшего старика.

— Тятенька! миленький! — кричала дочь. Но ответа не было.

Неподалеку жил студент-медик, позвали его; тот для очистки совести отворил кровь — кровь не пошла. Студент постоял, постоял, помотал головою и вышел. Старик умер.

— Батюшка ты мой! кормилец, поилец ты наш! охо-хо, хо-хо! — вопила старушка, припав головою к груди старика.

Саша тоже плакала.

Через несколько времени вошла ко мне хозяйка.

— Слышали: умер?

— Да.

— Без покаянья умер-то, — заметила хозяй-

ка.

— Чем же она хоронить его будет? — спросил я.

— У них есть теперь деньги, — шепотом сообщила мне хозяйка.

— Откуда же?

Хозяйка приложила палец к губам, осмотрелась, боясь даже стен: «ну-ка подслушают», — и тихонько произнесла:

— Яков-то с товарищами купца какого-то ограбил, тыщи три, слышь, у него сблаговестили, так он, говорят, с матерью-то поделился, сотни две дал, — прибавила хозяйка уже так тихо, что последние слова я скорее разобрал по движению губ, чем по звукам голоса.

— Где же теперь Яков?

— Скрывается. Ну, да уж Сибири не миновать. Вчера ночью здесь был. «Ежели, говорит, паспорт успею выправить, убегу, говорит, отсюда». Вчера, поди какое пиршество у нас тут было: одного донского никак дюжины две выпили, — добавила словоохотливая баба, тихонько выползая из моей комнаты.

Ночью, когда я уже загасил свечу, кто-то вошел в комнату соседей. Сквозь щелку в пе-



регородке я посмотрел туда и увидел Якова. Он был одет щегольски: красная шелковая рубашка, кафтан тонкого сукна, плисовые шаровары и высокие с бураками сапоги. Лицо Якова опухло от пьянства. Он подошел к кровати, где на грязных лохмотьях лежал мертвый отец, и не то улыбнулся, не то скорчил кислую гримасу при виде покойника — не разберешь.

— Гроб-то закажи, — обратился Яков к матери, — да саван, что ли, ему сшей, — равнодушно изрек он и, позевывая, вытащил из кармана депозитку, которую и сунул в руки старухи. — Ну, я пойду, — добавил он, — завтра, может, паспорт получу, — там прощайте!

— Как же мы-то останемся, Яша? — спрашивала мать.

— Как оставалась до сих пор, так и теперь останешься.

Старуха захныкала.

— Бога в тебе нет, Яша!

— Ишь ты на деньги-то очень падка.

— Да как же нам-то жить? — плакала старушка. — То двое были, а тут вдруг ни одного.

— Экое горе! А ты пореви, пореви — перебуду всех, дери тебя черти!

И Яков поспешно вышел из комнаты, сильно хлопнув дверью.

Наступил день похорон. Мертвеца оплакали, как следует по обряду христианскому, и снесли в бедном тесовом гробе на кладбище. Так как у старухи были некоторые деньжонки, то устроились поминки. Собрались различные полуголодные бедняки, и пошел пир. Кутеж продолжался до глубокой ночи. Якова не было между пирующими. Наконец, часов около двенадцати, явился и он. Тихонько пробрался Яков в комнату матери, скромно поздоровался с пьяными гостями и осторожно вел себя довольно долго: видно было, что он боялся отыскивающей его полиции. Яков был совершенно трезв. Но к концу кутежа он не выдержал своей роли: выпивши довольно много, он вдруг почувствовал в себе необыкновенную храбрость, — грозил перебить всех, кто только осмелится дотронуться до него, послал за водкой и подбил товарищей затянуть песню. Через минуту молодецкие груди сильно заколыхались от громогласных звуков:

*Я посею ль, молода, младенька,  
Цветиков маленько, —*

гаркнули наши удальцы. Маленькая квартирка стоном застонала от могучих голосов, задрезжали стекла и оконные рамы, отголоски понеслись вдоль улицы, расплываясь в ночной тишине. Я посмотрел в щелку на Якова. Он сидел у небольшого столика, бойко подпершись в бока; оловянно-грязные глаза упорно смотрели в стену и вероятно ничего ровно не видели; рот его то открывался, то закрывался как-то механически, без воли хозяина, причем вылетали оттуда дикие, громкие звуки. В порыве самодовольствия и презрения ко всему, Яков разорвал даже свою рубашку от самого ворота, почему, приходя в пафос, он сильно колотил себя кулаком в голую грудь. Четверо товарищей Якова сидели на кровати с самыми бессмысленными, пьяными лицами; мать и сестра давно уже спали на полу, уткнувшись головами далеко под кровать.

Вдруг раздался стук в наружную дверь. Яков чутко прислушивался. Он в мгновение побелел, как снег; бессмысленные глаза ра-

зом осветились как-то зловеще: слегка пошатываясь, Яков приподнялся со стула и начал усиленно слушать. Стук повторялся. Кто-то резко крикнул: «Отвори!». Несколько голосов поддерживали кричавшего. Беглец разом сообразил, в чем дело.

— Полиция! Как быть? — обратился он к товарищам.

Но товарищи тупо смотрели на него и только хлопали глазами да чавкали парализованными губами.

Яков совершенно отрезвел. Он окинул взглядом комнату, в секунду, кажется, перебрал глазами все, что было в ней, и заскрежетал зубами: чего-то он не находил.

— Эх, ножа-то нет! — взвизгнул вор.

Между тем хозяйка отперла дверь. Несколько человек вошли в сени, слышались вопросы: «где? куда?».

Яков, как застигнутая врасплох кошка, заметался из угла в угол, не зная, куда деваться. Он еще взглянул на товарищей, думая, вероятно, при их помощи отделаться хоть силой; но те совершенно никуда не годились и, казалось, не понимали, в чем дело. Не видя помо-

щи ниоткуда, Яков схватил стул, быстро изломал его, взял в руки ножку и, потушив свечу, бросился к двери. В коридоре показался огонь. Яков припер двери и затаил дыхание.

— Где? — спросил начальственный голос.

— Вот тут, — указала хозяйка на конуру соседей.

— Я тебе покажу, каналья, как не давать знать полиции, когда тебя обязали подпиской! — шумел тот же голос.

— Да ведь, батюшка, отец мой!.. — слезливо оправдывалась хозяйка.

— Молчать! Эй, ты, отворяй! — крикнул начальник и стукнул в дверь.

Ответа не было.

— Отворяй, говорят тебе, или дверь велю выломать!

Опять молчание.

— Ломай дверь! — обратился начальник к кому-то.

Несколько человек, вероятно полицейских, дружно откашлялись и наперли: перегородка застонала и заколыхалась сплошь, так что грозила повалиться даже и в моем стойле; наконец раздался оглушительный треск,

дверь у соседей сорвалась с петель и упала, мать и дочь проснулись и завопили. Я заглянул в щелку и увидел такую картину.

Яков стоял посреди своей миниатюрной комнатки, высоко подняв над головою обломок стула; лицо его было совершенно бело; черные глаза горели, как два угля; гнев и страх, искажившие его физиономию, особенно резко выражались в широко открытом, перекосившемся рте и поднятых бровях. Красная, яркая полоса света, вырывавшегося из коридора сквозь выбитую дверь, освещала всю фигуру Якова. Остальные личности, притаившиеся в полутемном углу, сами собою отодвигались на второй план в этой страшной картине. Мать и дочь, наполнявшие бессознательным, диким криком всю квартиру, барахтались где-то под кроватью, едва ли объясняя себе причину собственного вопля, потому что обе были пьяны; собутельники Якова жались один за другого, растерявшись и недоумевая, что им предпринять.

— Лучше сдавайся без драки, — уговаривал из коридора начальственный голос.

— Ни за что!! — твердо крикнул Яков.

— Ой, сдайся!..

Молчание.

— Тихонов, — скромно позвал кого-то начальник.

— Чего изволите, ваше благородие?

— Что же — надо брать.

В голосе начальника было что-то нежащее, и ласкающее, и вместе ужасное, — он как будто говорил: «Что же делать, Тихонов, я сам знаю, что в этой битве тебе, пожалуй, могут свернуть шею, — но как же поступить иначе?»

— Надо брать, — скромно подтвердил Тихонов.

— Все ли тут? — спросил начальник.

— Все, ваше благородие! — возопили человек пять-шесть подчиненных.

— Подите сюда.

Наступающие отодвинулись в глубину коридора и начали совещаться вполголоса. Больше всех, разумеется, говорил начальник, потому что он отдавал приказания; подчиненные только раздражались отрывочными «слушаю-с», «так точно-с» и проч. Наконец совещание кончилось.

— Яков, — заговорил у двери Тихонов, — брось ты это дело — сдавайся.

Яков молчал.

— Ведь хуже будет.

Опять молчание.

— Это, брат, не дело ты задумал, — с грустью изрек парламентар и, подкрепленный двумя-тремя товарищами, двинулся вперед; остальные стояли в дверях, потому что всем невозможно было войти в клетушку.

Яков начал махать палкой. Полицейские то подвигались, то отодвигались, смотря по тому, наступал ли на них или пятился враг. Наконец один из них стремительно бросился вперед, сильно нагнувши голову так, что ударился ею в живот Якова; но удар был слишком слаб, Яков оправился от него в одно мгновение и поразил своего противника палкой в голову: раненый застонал и на четвереньках пополз к двери. Наступающие озлобились и дружно пошли на неприятеля. Яков махал своим оружием направо и налево, нанося удары и поминутно заставляя своих врагов отскакивать; однако скоро дело приняло очень дурной оборот. Палка очутилась в руках по-



лицейских, и с помощью ее они успели очень скоро припереть своего противника к стене. Тут началась ужаснейшая драка. Яков бил, как говорится, «не в свою голову»; его били тоже без пощады. Наконец сила взяла верх: несчастного схватили за руки и бросили на пол. Яков взвизгнул, сразу напруг все свои оставшиеся силы, в последний раз взял перевес над врагами. Как тигр, он бросался из стороны в сторону, действуя руками, ногами, зубами, — словом, всем, чем только мог нанести вред неприятелю; последний было струсил и уже готовился отступить, но, видя, что энергия в противнике слабеет с каждой секундой, полицейские отважно рванулись вперед — и через пять — десять секунд, окровавленный, загрязненный, оборванный, Яков лежал на полу, издавая болезненные стоны; два полицейских, упершись коленами в грудь несчастного бойца, немилосердно скручивали ему руки и вязали ноги.

— А это что за люди? — грозно спросил начальник, указывая на товарищей Якова.

— У них в гостях были, — отвечала хозяйка.

— Вяжи и их!

Гости отдались беспрекословно.

— Ну, что, подлец? не говорил ли я тебе, — злобно обратился начальник к валявшемуся на полу Якову, тыкая сапогом в его лицо, — не говорил ли я тебе, мерзавцу?

Яков вместо ответа плюнул какою-то су-кровицей в физиономию начальника.

— А это что за женщины?

— Это мать его и сестра, — объяснила хозяйка.

— Вяжи и их!

Смолкшие было женщины опять заголосили, перебирая различные причитанья.

Скоро комната опустела, потому что полиция перевязала и увела с собою всех, и таким образом, по словам Державина, а может быть, и другого какого-нибудь пиита:

*Где пиршеств раздавались клики,  
Надгробные там воют лики...*

Словом, история Якова разыгралась трагически.

Однако в крепости я живу уже больше двух месяцев. Кровавые драмы, так занимавшие меня в первое время, начали уже мало-помалу проходить перед моими глазами, не особенно трогая сердце; нервы мои, как видно, сильно загубели и стали неподатливы на впечатления. Соседей своих я узнал досконально и как-то привык к их позорной, преступной жизни, находя ей оправдание в легионах различных обстоятельств, под влиянием которых жили и действовали эти люди.

Теперь я хочу рассказать о своей соседке, жившей в стойле налево.

Раз я возвращался домой часа в два ночи. Грачонка еще бушевала, но Колосов уже спал. Кромешная тьма охватывала нашу улицу со всех сторон. Покосившиеся старые домишки глядели какими-то отвратительными сырыми склепами. Изредка в подобном склепе чуть брезжил огонек где-нибудь на чердаке — знать, тоскует какая-нибудь погибшая душа, благо хоть ночная тишь способна вызвать подобную душу на размышление о бесконечно

лютом горе, гнетущем ее изо дня в день. Я скоро добрался до своей Арбузовской крепости. Только что я успел потушить свечу и лечь, соседка вошла в свою берлогу. Я встал с кровати и начал смотреть в щелку (нужно заметить, что тонкие перегородки моей комнаты все были усеяны дырами). Маша (так звали соседку) зажгла свечку, села к столу и, подперши голову руками, о чем-то сильно задумалась. Лицо ее мало-помалу начало принимать все более и более печальное выражение, наконец крупные слезы покатались по щекам.

— Ох, господи, господи! — прошептала Маша и склонилась головою к столу.

Рыдания, тихие, сдержанные, вырывались из ее страдальческой груди; наконец несчастная не могла более переламывать себя и заголосила.

— Маша, о чем вы плачете? — спросил я ее.

— Поди ты к черту! — крикнула со злобой Маша. Я понял неловкость своего вмешательства и замолчал.

— Нет ли водки? — крикнула мне Маша через несколько времени.

— Нет, — отвечал я.

— А деньги есть?

— И денег нет.

— А туда же суешься с расспросами, шут гороховый!

Я молчал.

— Слушай! — крикнула мне соседка.

— Что?

— Научи меня, как отмстить одному человеку.

— За что же?

— Да тебе что за дело? ты только научи.

— Как же я могу научить, когда я не знаю, за что нужно мстить?

— Он надсмеялся надо мной.

— А ты сама над ним посмейся.

— Ты, я вижу, дурак, как есть, — заметила Маша. После некоторого молчания Маша опять заговорила:

— Ну слушай, я расскажу, что он со мной сделал.

— Говори.

— Вчера, видишь ли, добыл он денег. Вот мы пошли с ним в «Ад», да и кутили там до нынешнего вечера: рублей сорок никак про-

пили. Только вечером он приглашает меня кататься: «Мы, говорит, куда-нибудь за город поедем». Взяли извозчика, поехали. Только он, подлец, что же со мной сделал? Вывезли они меня с извозчиком туда за Ваганьково кладбище, в степь, сняли салоп, да и вывалили в снег: «Ступай, говорит, дамой!» А уж это часов одиннадцать было: в степи-то ни души нет, кругом темно, хоть глаз выколи; иззябла я вся, перепугалась... Кричала, кричала — никто не слышит. Вот побежала, побежала, а волосы так дыбом и становятся. Ноги это у меня коченеют, измокла вся, и все бегу, все бегу... И забежала я со страху-то к Роговской заставе, да оттуда уж домой повернула. Вот он как надсмеялся надо мной, подлый!

Я молчал, потому что вовсе не намеревался советовать Маше какое бы то ни было мщение против подобного изверга.

— Что же ты молчишь? — спросила меня соседка.

— А что?

— Да говори: как мне ему отмстить? Научи меня.

— Зачем же ты непременно хочешь

мстить? Ведь он, вероятно, это пьяный сделал.

— Нет, нет, отмщцу!

— Я бы знаешь что посоветовал тебе?..

— Что?

— Не связываться с ним.

— Не могу я с ним не связываться, потому я его люблю; я одного дня без ево не проживу.

— Да ведь ты его любила ли когда-нибудь трезвая? Ведь это ты говоришь, когда у тебя хмель в голове сидит.

— Врешь ты, дурачина! — обиделась Маша.

— Право, так. Вот теперь ты трезвая, вот и подумай: любишь ли его?

— И думать не хочу, потому что трезвой мне и без него нужно обо многом думать.

— О чем же это?

— Так я тебе и сказала...

— Отчего же не сказать?

— Незачем тебе знать.

— Ну, слушай, Маша! Когда же ты думаешь бросить подобную скверную жизнь? Ведь не век же будешь ты так болтаться?

— А ты что за поп такой, точно на духу до-

прашиваешь...

— Ну, все-таки, когда придет старость, что тогда будешь делать?

— Что придется, — а то к матери уеду.

— А у тебя разве есть родители?

— Мать есть.

— Где же она?

— В Верее живет. Ты, брат, не смотри, что Машка Ремизова и такая и сякая: у ней мать да братья ровно купцы в Верее живут.

— Зачем же ты-то тут колотишься, хуже всякого нищего?

— А затем, что я тут сама себе голова: что хочу, то и делаю. Вот гулять хочу — и гуляю, никто мне не запретит.

— Хорошо гулянье, — заметил я.

— Ох, и правда, голубчик, что не очень-то хорошо, — со вздохом ответила Маша. — Ину пору, как не поешь суток двое али как потаскают тебя по съезжим — так воем взвоешь, только держись! И маменьку-то вспомнишь, и братьев, и дом-то свой — все переберешь, надо всем наплачешься вдосталь.

— А ты давно ушла из дому? — спросил я Машу.



— Да уж вот четыре года. Да, так и есть, — прибавила соседка после некоторого молчания, — на пасху вот ровно четыре года будет, как мать меня избила, а я после-то и сбегла.

— За что же она тебя избила?

— Долго рассказывать.

Молчание.

— Или уже в самом деле рассказать?

— Да что же, расскажи. Ведь не секрет?

— У меня, брат, секретов нет. Слушай! Мне в ту пору пошел семнадцатый год. Девочка я была красивая-прекрасивая из себя. Это вот теперь-то тут, в Москве, истрепалась, а тогда-то — поглядел бы ты, как ваш брат бегал за мной. Только наезжал в то время к нам в Верее один купеческий сын, Андрюшей звали: молодой такой, статный, из лица красивый, — вот ровно орел какой! Теперь здесь в Москве живет, — только уж куда же, далеко не тот, так, чурбан какой-то стал. Ездил этот Андрюша к нам по каким-то делам, расчеты какие-то все с братьями сводил. И давно мне он, признаться, нравился: так, бывало, и не отхожу от него, когда приедет — то за тем, то за тем шныряю в комнату, где он останавли-

вался. В тот самый год, когда я сбегла со двора, приехал он к нам, должно, на четвертой неделе великого поста. Остановился он, как всегда, у нас. Я это по-прежнему толкусь возле него. Стал, вижу, мой Андрюша ласковей со мной обращаться: то ручку пожмет потихонечку, то так и поцеловать норовит где-нибудь в темном уголку. Ну, я, известно, рада, потому нравится мне человек, да и конечно дело. Вот мало-помалу разговорились мы с ним: он мне признался, что любит, я ему тоже. Только на шестой этак, должно, неделе и говорит мне Андрюша, — что пора ему ехать в Москву, потому дела все кончил. Я упрашиваю: останься, мол. Нельзя, говорит, потому отец сердиться будет; да и тут-то, говорит, болтаться не приходится, а то братья, чего доброго, бока намнут — и то косятся. Только порешили мы с ним дело так: поедет будто бы домой, а сам между тем только съедет от нас на другую квартиру, и буду я к нему ходить. Сладили. Съехал Андрюша. Через день никак, через два ли, отправилась я к нему вечерком: отправилась девицей, а часа через два вернулась женщиной. И стыдно-то мне, и горько, и

слезы эти душат, и ровно кто давит тебя за горло. Всю ночь напролет проревела, как корова. И закаивалась-то я, чтобы не ходить к нему больше, и богу-то молилась, и матери-то обещалась повиноваться во всем, — чего-чего не думала я в эту ночь, лежа в своей светелке, а все-таки на другой день побежала опять к Андрюше, потому чувствую, не могу жить без него. Так прожили мы всласть всю страстную неделю — то-то грешники были, — Андрюша забыл и об отце и обо всем; я тоже мало о чем думаю, потому что все это во внутренности у меня так и кипит. Пришла пасха — Андрюша все не едет. Дела эти мы ведем с ним чуть не в открытую. Наконец слышу, кто-то стал уже матери намекать, что так-де и так. На третий, должно быть, день побегла я к Андрюше. У нас ведь, скажу тебе, девкам жизнь вольная — ходи куда хочешь, вот и за мной, стало быть, не очень-то присматривали: никому дела нет, дома ли я, или ушла куда-нибудь. Только посидела я у Андрюши, надо быть, часа два-три, выхожу — хватъ, два брата так и выросли передо мной, ровно из земли вылезли.

— Ты где была? у кого? — спрашивают.

— А вам что за дело?

— Как что за дело? Ты нашу фамилию срамишь! — говорит старший, да как резнет меня по щеке.

Я была девка не промах, размахнулась да его. Вот уж тут они меня ухватили за космы-то, да и потащили домой. Больно мне, а молчу, боюсь народ перебудить. Ну, уж как притащили меня домой, тут и рассказывать нечего: так избили, так избили, что просто места живого на теле не осталось; мать, так все сковородником катала куда ни попадя, — и по голове-то, и по лицу, и по рукам — везде: палец один даже переломили. После того заперли меня в светелке на замок и никого не пускали ко мне, должно быть, с неделю; иначе смиловались, отперли. Стала я поправляться. Брожу по комнате и все о своем Андрюше думаю. А была у нас, надо сказать, кухарка Хавронья, славная такая баба, добрая. Вот я, поправившись-то маленько, и позвала ее к себе, прошу узнать об Андрюше. Та, ничего, сходила. Так и так, говорит, уехал и оставил, говорит, свой адрес, чтобы могла его ты

отыскать в Москве, если захочешь письмо написать али что такое. Тут мне влезла в голову такая мысль: уеду я, мол, от них к Андрюше — убегу, пропадай они и совсем-то! Скоро я поправилась; только палец один переломленный болит. Мать и братья каждый день так едят меня, что просто житья от них нет. Вот недолго думая собралась я, да марш в подгородное село, а оттуда с мужиками в Москву. Приехала. Куда деваться? Бегала, бегала по Москве-то, наконец как-то пустили ночевать на одном постоялом дворе без всякого вида. Деньги у меня были. Поутру, господи благослови, только что встала, послала мужичка к Андрюше, сказала, где найти. Через час этак, не больше, гляжу, катит мой Андрюша, веселый такой. Уж такая, помню, была мне радость, такая радость, что и сказать не могу! Я ему сейчас рассказала все. «Ничего, говорит, теперь дело устроить можно. Мы им, говорит, напишем, что ты подала здесь губернатору жалобу и описала, как они тиранствовали над тобой, и что ежели они не вышлют тебе паспорт, так тогда их просто засудят!» Сразу перевел он меня на квартиру к какой-то зна-

комой, и живу я без горя и печали.

Через неделю этак с чем-нибудь получаю я из дому письмо, просят меня родные пожалеть их, отступиться от жалобы, и прислали мне паспорт и деньги; а больше всего просит меня мать — вернуться домой. Ну, думаю, так и поехала я теперь, дожидайтесь. Вот и зажила я с Андрюшей в самую сласть!.. Да видно, сколько ни люби вашего брата, никогда в вас пути нет. Гляжу-погляжу, Андрюшка мой что-то вилять начал: то дни не приходит, пропадает где-то, то придет злющий-презлющий такой, хоть и не гляди на него. Попервоначалу-то я, бывало, плакать начну, пеняю ему, а он-то ломается, он-то ломается; потом вижу, пути от моего плача мало — не поддается, стала я с ним, что называется, зуб за зуб, потому, чувствую, он как есть чистейший подлец выходит. И пошла это промеж нас брань да ругань: он уступить не хочет, я тоже — катать! Наконец довели до того, хоть разбежаться, так в ту же пору. А тут, как нарочно, стал ухаживать за мной какой-то чиновник, так и распинается, сердечный! Думала-думала я, наконец махнула рукой, да и пустила Ан-

дрюшку в отставку. С чиновником никак месяца три провозилась — и тот надоел. Чувствую, что во мне, во внутренности-то, как будто заглодело все, перестала я думать об этих мужчинах, потому они не стоят того, чтобы об них думать. Стала сманивать меня к себе одна мадам, горы золотые сулила; думала-думала я, да и поступила к ней: «Дай, мол, всего попробую». Там прожила года полтора, наконец ушла — надоело. Тут уж я и свихнулась вовсе: водку эту стала так пить, так пить, что и мужчине другому, чай, завидно! Жила сперва-то в *Чернышевской батарее*, а оттуда вот сюда перебралась, и все-то скверно, и все-то скверно!

Маша глубоко вздохнула.

— Раз со мной, знаешь, какой случай был? — спросила она меня.

— Какой?

— Да вот не хуже нынешнего.

— Что же такое?

— Такая страсть, что упаси господи! Это было зимою прошлого года. Жила я тогда тут же, на Грачовке, только в другом месте. Вот праздновали мы именины одной подруги, —

после крещения, должно быть, вскорости было, — стужа такая стояла, что просто смерть. Денег мы тогда достали где-то порядочно. Пирруем. К вечеру я натесалась до зеленых чертей: еле на ногах держусь. Нас было человек десять мужчин и женщин. Так, выпила я до того, что просто память потеряла. Говорят, пошла я в те поры куда-то со двора. Салопишко был на мне заячий, платьишко шерстяное, на голове платок ковровый, хороший. Только что же вышло-то, слушай! Приснилось мне, что будто бы меня черти в ад тащат, и так этот ад ясно мне представляется, вот ровно бы настоящий. Притащили будто бы, свалили у огня, да и начинают понемногу толкать в огонь, и толкают ровно бы ногами вперед. Что же бы ты думал? Просыпаюсь и вижу, что стою я по колени в снегу, в сугробе, на Москве-реке: нет на мне ни салопы, ни платья, ни платка — всё сняли; ночь темная-пре-темная, холод этот так и пробирает, так и пробирает меня насквозь. Я перекрестилась да бежать, да бежать домой. Одначе будочник какой-то схватил: нечего делать, переночевала в части ни за что ни про что, да еще одежду



всю сняли. После спрашивала, спрашивала: как, мол, я могла попасть на Москву-реку и кто меня ободрал — никто не знает. Да поживи-ка, брат, с наше, узнаешь, какова она есть жизнь! — заметила мне Маша, как бы в поучение.

— Отчего ты, Маша, не пойдешь куда-нибудь, в горничные, что ли?

— Оттого, что ты дурак!

— За что же ты ругаешь меня?

— За то, что ты пустяки говоришь.

— Какие же пустяки?

— Разумеется. Ты знаешь, я теперь отвыкла от всякой работы, у меня дурь-то из головы нужно выбивать не один год, не два... да и не выведешь ее теперь, пока я могу жить хоть так, как теперь живу — пока не издохну совершенно с голоду.

«Действительно, — подумал я, — какая тут работа, когда женщину никогда и не приучали к ней, и когда, прежде чем научить чему-нибудь путному, явились люди, которые только и были способны на то, чтобы развратить, и развратить очень глубоко эту несчастную жертву, с ранних лет поставивши ее на

скорбную дорогу безделья и разврата».

— Ну, прощай! — крикнула мне Маша, — я спать хочу.

— Прощай!

Скоро в стойлах водворилась глубокая тишина, нарушаемая лишь дружным храпением нескольких забывшихся сном душ. Циничная откровенность и холодность, с какою Маша рассказывала свои похождения, долго тревожили меня.

«Экое глубокое паденье! Экой разврат подлый!» — думал я, ворочаясь с боку на бок.

Прямо против моей двери, в другой половине, в подобном же стойле, жил некто Семен Антонов, известный больше под именем Сеньки Кушачника. Это был заматерелый вор, и *кушачником* он прозывался потому, что при начале своей воровской карьеры очень долго занимался исключительно мелкою кражей кушаков. Семен жил не один: вместе с ним, в качестве возлюбленной, проживала какая-то англичанка, но англичанка, прожженная русским горем до того, что английского оставалось в ней только одно имя (ее звали Эммой), да разве волосы какого-то особенного цвета, которые, впрочем, с каждым днем теряли свою оригинальность от прикосновения всероссийских Сенькиных рук. Действительно, Семен поступал со своей половиной крайне бесцеремонно и бил ее всегда вдвойне, потому-де, что раз я бью тебя как русскую бабу, или, лучше сказать, как подругу русского человека, который без таскотни обойтись не может, а другой — я бью тебя за то, что ты нехристь. Что держало этих двух

иноплеменников вместе — трудно объяснить. Надо полагать, что Эмму привязывала к Семени та длинная, толстая веревка, которая именуется всюду голодом и имеет удивительную способность, связывая прямо противоположные предметы, мирить их между собою и заставляя действовать один в направлении другого, сильнеею. Эмме было лет за тридцать; лицо ее сохранило еще некоторые признаки миловидности и суровой привлекательности, несмотря на всю горечь жизни, какую вытерпела несчастная англичанка чуть ли не с пятнадцати-шестнадцати лет. С этого раннего возраста Эмма глубоко окунулась в разврат и, оставленная ребенком, в течение нескольких лет публичной жизни, не имея ни времени обдумать свое печальное положение, ни средств хотя несколько возвыситься над согнувшим ее злом, — она так же, как и во дни своего юношества, беззаботно проводила день за днем, без оглядки назад, без соображения будущих бедствий. Она быстро перелетала с места на место, быстро теряла физическую красоту, которую одну и ценят в таких женщинах, и, наконец, очутилась в

Москве, да еще где? — на Грачовке! Тут несчастная как бы вдруг очнулась. Теснимая голодом, забракованная, презираемая всеми, она с радостью бросилась на шею даже такому человеку, как Семен, и вот теперь выносит молча все попреки, оскорбления и побои, какими ежеминутно осыпает ее этот варвар *malgr'&#233; soi* [5]. Эмма знает, что теперь наступили для нее покаянные дни, и терпеливо несет свой терновый венец. «А ну как прогонит? — думает она, — куда я тогда денусь?» И в силу подобного аргумента бедная женщина до того унизилась, до того сжалась и покори-лась Семену, что даже этот дикобраз похваливает Эмму за смирение.

— Уж на что бабу тише моей, — бахвалит он между товарищами, — иной раз бьешь, бьешь ее — не вякнет: даже досадно станет! Ну, подай ты голос, думаешь: бросил бы, так нет, каторжная, ни за что! Слезы эти из глаз ровно горох скачут, а голосу нет — ах, дери те волки!

Семен был очень оригинальный вор, не по роду воровства, а по удивительному нрав-ственному расположению и хладнокровию, с

каким он относился к своему делу. Нужно заметить, что большинство воров ведут самую неправильную жизнь, постоянно разлагают свою совесть вином и если крадут, то крадут вследствие *тяжелой* необходимости добыть каким бы то ни было образом деньги на удовлетворение своим страстям. Семен был не из таких людей. Он вел весьма приличную жизнь, то есть имел квартиру, обед и ужин, чай, ходил по праздникам в церковь, где усердно молился богу, теплил лампадки, ел по воскресным дням пироги и проч. и проч., — словом, во всем держался людей и жил так, как живут честные люди с его достатком. Поутру обыкновенно Семен вставал довольно рано, умывался, пил чай, бил свою Эмму, если то было нужно, затем садился, как путный, за работу (он шил башмаки), а потом часов в восемь-девять выходил со двора, бормоча про себя: «Пойти посмотреть, не будет ли чего», — что в переводе значило: нельзя ли к кому в карман залезть. С утра Семен пропадал до часу; в час он непременно являлся домой, обедал, опять бил Эмму или поносил ее, насколько хватало красноречия, и потом ложился от-

дыхать часов до четырех. В четыре опять пил чай, опять принимался за несчастную Эмму, если считал то необходимым почему-либо, а затем пропадал со двора до поздней ночи. Впрочем, я не помню, что Семен когда-нибудь не ночевал дома, в этом отношении он был аккуратный человек. У Семена водились даже деньжонки, которые он отдавал в рост. В праздничные дни он любил прогуляться с Эммой в Сокольниках или в Марьиной роще, а зимой где-нибудь по городу. Тогда Семен одевался в хороший суконный сюртук, в хорошую чуйку, брал в руки тросточку (нужно заметить, что воры вообще ходят без палок: они им мешают) и требовал, чтобы Эмма, одетая весьма прилично, брала его под руку. Словом, это был самый завзятый, самый гадкий из всех известных мне воров. В нем вы едва ли отыскали бы хоть каплю каких-либо человеческих достоинств, и если судить обо всех остальных по этому исчадию, то трудно было бы, при всем вашем желании, хоть на йоту смягчить общий приговор против этих погибших людей. Сенька Кушачник спал так же спокойно, как все честные люди, или, лучше

сказать как спят дети, потому что совесть свою он убил систематически, долговременным и прочным угнетением этого врага. Ему дивились даже товарищи по ремеслу.

— По характеру супротив Сеньки ни одного нет. В ином месте, — говорили они, — и сделал бы что-нибудь, да нет — рука не поднимается, а Сенька этого не знает: ему все равно, что риза с образа, что часы из кармана, что тринка[6] у своего же голодного брата врага, — все берет. Пробовали мы тут как-то говорить, что нам за это дело на том свете будет, так Сенька и выговорить не дал... «Что будет, то и будет, говорит, а язык тут чесать нечего: не суйся в такое дело, которого делать не умеешь».

Раз я встретился с Семеном в коридоре. Семен мне вежливо раскланялся и вступил даже в разговор.

— Дорожку-то попортило, — сказал он.

— А что?

— Да вот ходил кое за чем на рынок, да подвозу нет, дорожисть во всем.

— А вы что покупали?

— Да так кое-что по хозяйству, по махонь-



кому... Говядинки купил, того-другого, хотел птицу какую прихватить, да подступу нет, очень уже цену высокую ломают.

Во время разговора Семен держал себя с достоинством и бойко жестикулировал, подражая галантным московским приказчикам из Ножовой, Суровской и других линий.

В другой раз мы разговорились с Семеном по следующему поводу.

Семен начал бить свою Эмму. Тяжелые удары слышны были даже в моем стойле. Мне сделалось ужасно досадно, что я не могу как-нибудь помочь этой бедной жертве. Я принялся усиленно кашлять. Варвар, вероятно, догадался и бросил. Эмма долго тяжело дышала. Наконец, слышу я, Семен выходит из своей берлоги. Я поспешил тоже выйти за дверь, думая, что обозлившийся тиран вздумает или оскорбить меня за помеху, или же посетует на свою возлюбленную, — словом, разговоримся, и я желал намекнуть ему, что он слишком бесчеловечно обращается с Эммой.

Семен встретился со мной в коридоре. Он был совершенно спокоен.

— Здравствуйте, — почтительно раскланялся Семен.

— Здравствуйте. Куда это вы?

— Да вот пройтись хочу, как будто разнемогся что-то.

— А нынче хороший день.

— Очень чудесный-с. Так это тепло.

Я подумал, подумал и наконец решился навести Семена на разговор о его житье-бытье.

— Вы с женой, кажется, живете?

— Нет-с, это так... знакомая.

— Славная какая женщина, тихая, работающая.

— Баба ничего-с... хорошая.

— Да, такую женщину есть за что и любить.

— Известно-с...

Семен зашевелил картузом и, вероятно предчувствуя, куда я намерен потянуть речь, перебил меня возгласом:

— Засим до свиданья-с.

Так я и остался на бобах с своими гуманными помыслами.

Арбузовская крепость, в которой я прожил три месяца, до сих пор повергает меня в самое томительное, гнетущее состояние, как только я вспомню о ней. То, что набросано в этих очерках, составляет только десятую часть всего виденного мною. Не пуризм заставляет меня молчать обо многом, но просто неуменье выразить на человеческом языке все эти ужасы, всю эту битву безоружных бедняков с суровою жизнью. Да и возможно ли наконец удержать в памяти и выразить словами все моменты агонии — агонии, которая длится целые годы!.. Такие моменты вы, по возможности, гоните от себя прочь, потому что сердце ваше не из камня и нервы не из стали, чтобы переносить изо дня в день совершающиеся перед вашими глазами катастрофы. И из-за чего, подумаешь, бьются эти люди!.. Что принесет им завтрашний день? Что им отрадного даст завтра жизнь? Ничего ровно; потому что как нынешний день они прокляли, ложась спать, так проклянут и завтрашний и послезавтрашний и сотни, тысячи подобных дней предадут проклятию! А всё живут, всё чего-то ждут, всё на что-то надеются.

ся... Нужда ли вас не допекала, голод ли не морил, холод ли не терзал? Чего же вы еще ждете? Ужели вы думаете изведать нужду полнее, познакомиться с голодом пожесточе, с морозом покруче? Или не думаете ли вы, что вам даром дается и довольство, и теплота, и сытость, что небо когда-нибудь сжалится над вашими страданиями и за долгое терпенье вдруг пошлет вам в награду все те блага, какими пользуются другие люди, его фавориты? Эх, друзья мои! не вы первые, не вы последние из заблуждающихся таким образом! Все погибли позорным образом, кто думал так, как вы; все, кто все ждал чего-то, а не старался сам добыть, не старался собственными руками устроить собственное благоденствие.

Как машина на ходу, неустанно грохочет и шумит жизнь в Колосовом. Подогреваемые пенным вином, нищенские страсти с визгом и стоном вертятся и разбегаются из стороны в сторону в этой отвратительной машине. Приводящие в действие весь механизм кабаки приветливо смотрят своими заплесневшими, загаженными окнами, словно взывая к снующим по улице беднякам и приглашая их вой-

ти в место успокоения. Но гаже всех домов, гаже всех гадостей — это *Арбузовская крепость!* Она зловеще чернеется на самой середине переулка и знать ничего не хочет. Да и что ей за дело до этих проходящих, к которым обращают свою речь кабаки? Ей ли, шумной и многолюдной, заботиться еще о новых жильцах, когда и старых-то она считает целыми сотнями, не зная сама, как отбиться от докучного их гомона, от назойливого их скрежета и раздирающих душу стенаний!.. Да, Арбузовская крепость и без зазыва полна сверху донизу; и без зазыва в ней нет отбою от различных живых мертвецов; и без зазыва в нее сами собою валяются трупы — потому что трупу в могиле и место!..

# Примечания

Арбузовская крепость. — Впервые опубликовано в журнале «Русское слово», № 2 за 1864 год.

Этот рассказ вошел впоследствии в цикл «Московские норы и трущобы», появившийся впервые в составе сборника под тем же названием, выпущенного Вороновым совместно с А. И. Левитовым в 1866 году. Цикл состоял из следующих произведений Воронова: «Сквозь огонь, воду и медные трубы», «Грачовка», «Ад», «Тишина» и «Арбузовская крепость». В них всесторонне были изображены быт и нравы различных московских притонов и ночлежек. Книга Воронова — Левитова имела успех и выдержала подряд два издания (второе издание — в 1869 году).

В 1870 году рассказы цикла «Московские норы и трущобы» вошли в сборник произведений Воронова «Болото» (СПб.).

В советское время рассказ «Арбузовская крепость» (со значительными сокращениями) переиздавался дважды: под редакцией К. И. Чуковского в сборнике «Шестидесятники,

Избранные произведения», ГИХЛ, М. 1933, и в сборнике «Русские очерки», т. 2, Гослитиздат, М. 1956.

В настоящем издании рассказ «Арбузовская крепость» печатается по тексту: М. А. Воронов, «Болото», СПб. 1870.

[^^^]



## 2

*Арбузовская крепость* — то есть дом купца Арбузова. Крепостями назывались купеческие дома, сдаваемые внаем.

[^^^]

# 3

Глава семейства (*лат.*).

[^^^]

## 4

*...местности вроде Грачовки, Дербеновки, Мошки, Щипка...* — названия районов Москвы, своеобразных центров московского «дна».

[^^^]

# 5

Против своей воли (*франц.*).

[^^^]

# 6

*Трынка* — монета в одну копейку серебром.

[^^^]